

Ольга СЕДАКОВА

Слово Аверинцева

«История русских иллюзий и фантазий, русских заблуждений изучена гораздо более внимательно и обстоятельно, чем история русской здоровой мысли».

С.Л.Франк

Мы простились с нашим великим современником и соотечественником: с человеком, который представлял собой такую удивительную редкость и среди наших современников, и среди наших соотечественников, что сама его принадлежность тем и другим казалась едва ли не чудом, противоречащим порядку вещей. Поверхностный взгляд мог видеть в Сергее Сергеевиче Аверинцеве анахронизм (в наше время такого не бывает!) и, так сказать, а-топизм (в нашей стране таких быть не может!). Осмелюсь утверждать, что то, что противоречит такого рода «порядку вещей», иначе говоря, привычкам ленивого ума, как раз и обладает подлинным существованием; только такое и составляет историческое событие. Со всей уверенностью я думаю, что именно в Сергее Аверинцеве — как, вероятно, ни в ком другом — нашли свое настоящее выражение и время, и отечественная традиция. Я имею в виду смысловой потенциал времени и традиции, а также востребованность временем и традицией. Так сложилась история (или, словами из стихов Аверинцева, «так все сошлось»), что не поэт, не философ, не автор большой прозы (что привычнее для России), а человек по существу не определимого рода словесного творчества выразил то, в чем больше всего нуждалась эпоха, что более всего давало ей надежды и свободы. Начало этой «эпохи Аверинцева» — конец 60-х, ее апогей — 70-е — 80-е годы. В самой жанровой неопределенности слова Аверинцева (философия культуры? традиционная филология? общая герменевтика? прикладное богословие? наконец, поэзия в новой, понятийной и дискурсивной форме?) я вижу его радикальную актуальность — не только в отечественной, но в европейской ситуации. Разговор о том, «всем» или «не всем» слышно и нужно это слово, оставим «нашей святой молодежи»¹.

Итальянский друг Аверинцева и спутник его последнего римского путешествия Витторио Страда написал о нем так: «Его служение было плодом русской культуры, островками сохраненной вопреки всем невзгодам советской эпохи и именно в нем, родившемся в 1937 году, пережившей свое возрождение и обновление» («Аверинцев, душа филологии» — *Corriere della sera*, 24.02.2004). Задержимся на двух положениях, заключенных в этой фразе В. Страда, — о сохранности островков русской культуры в советскую эпоху и о ее обновлении.

В самом деле, то, что эта традиция сохранилась вопреки всему вплоть до послевоенного времени, можно без преувеличений назвать чудом. Аверинцев вырос в семье и в кругу внесоветских людей (тех, кого называли «бывшими», «старорежимными» или, крепче и проще, — врагами народа), среди дореволюционных изданий и, волей обстоятельств (болезненности, не позволившей ему до 5 класса посещать школу), «неестественно мало для советского человека знал обо всем советском» (С.С.Аверинцев. *София — Логос. Словарь*. Киев, Дух и литера, 2000, с. 418). Но что он кровно знал, это динамику русской истории: его отец, ученый-естественник, был сыном крестьянина и закончил германский университет; от отца он слышал Горация на латыни. Я навсегда запомнила лицо его деда на старинной фотографии: необычайно умное, сосредоточенное лицо

человека, одетого в городское платье. Этот человек ясно выраженного интеллектуального призвания родился в крепостном сословии! В памяти семьи была страна, в которой открывались такие траектории жизни: из крепостной деревни к геттингенскому профессорству. Этот чудом сохраненный мир, *свой* мир, занимавший одну комнату в московской коммунальной квартире, естественно, не был музейной резервацией: это была осажденная и осаждаемая крепость. Мысль о верности — одна из магистральных мыслей Аверинцева — была выношена им и оплачена с детства. В его случае конформность окружающему обществу (обществу, подчеркну, а не «властям») была бы не результатом неведения, как для большинства его ровесников, а сознательным отречением от уже известного, от наследства. Поблагодарим Бога за то, что у странного, одинокого, крайне робкого — по воспоминаниям всех, кто рано познакомился с «Сережей» — и болезненного мальчика каким-то образом достало сил не совершить этого шага. Привычно мы говорим в таких случае о «силе» — но говорить надо о любви. Любовь к тому, что он *уже* знал, и не позволила ему принять то «причастие буйвола», о котором писал Г.Бёлль.

Когда, с середины 60-х, Аверинцев заговорил публично, мы слышали слово, какого не должно было звучать на наших пространствах: все подобное ему, казалось, было истреблено на поколение, а то и на два прежде. Все в этом слове было вопреки вероятному: и прежде всего его доверие и почтение к слушателю, доверие и почтение к предмету мысли.

О многих именах, темах, концептах мы впервые слышали от Аверинцева (и это не только византийские древности, но и мысль 20 века — Юнг, Гессе, Бультман... всего не перечислишь!). О том, что говорили и до него, мы слышали совсем другое. Стоит открыть издание «Новой Жизни» Данте 1965 года (одна из первых встреч Аверинцева с широким читателем) и сравнить предисловие, написанное Н.Елиной, — и комментарий, составленный С.С.Аверинцевым и А.В.Михайловым. Книга юного Данте была заключена в два противоположных толкования — официальное и до боли знакомое в начале и совершенно невыносимое, *правильное*, в конце! Дозволенная речь в то время могла быть обращена к двум адресатам: к начальству, к идейным надзирателям (поэтому «Новая Жизнь» была первым опытом реализма) — и к некоему «простому человеку», для которого нужно излагать все попроще, все «основное», «не заумное» (поэтому сны, видения, цитаты из Св. Писания предлагалось отбросить как лишнюю метафизику). Никто так не презирал собственного народа, как те, кто говорили от имени «народности»: «наш читатель не поймет!»

Речь Аверинцева была обращена к друзьям, к людям, о которых он не решил заранее, что «этого им не нужно», «этого они не поймут». И, выйдя с доверием к неготовым людям (я сама была таким неготовым человеком, для которого, вероятно, каждое десятое слово в текстах Аверинцева было просто незнакомо), он и сделал их такими, каким можно доверять, с какими можно разговаривать. Мы слышали обращение к миру, к слову, к читателю, не изуродованное недоверием и заносчивостью — большим самолюбием советского сироты, «нового человека», которому все за пределами своего гетто *чужое*. Голос наследника огромной истории человеческого творчества, «высокого племени людей». И это был голос понимания («филология — служба понимания», дефиниция Аверинцева) и хвалы («Похвальное слово филологии», опубликованное в журнале «Юность»: среди бойкой болтовни в «молодежном стиле» каким непривычно *взрослым* было это слово!²)

Не всякому такой рискованный жест принесет успех: скорее всего в ответ на него можно получить то самое «слишком сложно!», агрессивный отказ задуматься, реакцию, на которую нашего человека натаскивали десятилетиями. Но Аверинцеву удивительным образом это удалось. Все притихли и прислушались: немногочисленные «бывшие» — со

слезами (неужели к нам возвращается то, что никак не могло вернуться?), многочисленные «новые» — с восхищением скифа, озирающего Афины³. Аверинцеву был дан дар убедительности. Для начала, он располагал необозримыми знаниями — а знания самый грубый советский человек уважал. Затем, Аверинцев был истинным ритором (кстати, в необходимости риторики для всякого гуманитарного труда он видел одно из своих расхождений со школой структурализма). Он выработал совершенно особый язык, на котором можно говорить о высоком, не впадая в ходульность. Он прекрасно чувствовал полное крушение бездоказательного слова, слова-лозунга, он знал опустошающий опыт недоверия 20 века. Он знал опасность монолога: правильно построенное утверждение предполагает, что говорящего можно спросить, переспросить о сказанном. Автор должен ожидать вопроса и возражения и первым ставит вопросы к собственным утверждениям. Это один из основных риторических принципов Аверинцева. В своей новой риторике он исходит из ситуации кризиса нравственного языка, кризиса богословского языка, кризиса лирического языка в послекатастрофическом мире. Слово, которое он предлагает, имеет в виду некое радикальное возражение и не пытается заставить недоверяющего ему молчать.

Это слово можно назвать *новой апологетикой*. Аверинцев ведет свой разговор о смысле и смыслах, свою защиту слова перед новым вызовом времени: это, по его определению, уже не неверие во все трансцендентное, как бывало в классическом позитивизме, а «неверие в слово как таковое, вражда к Логосу». Он продолжает разговор об «иерархических априорностях» с «современным человеком», который хочет начинать все с чистого листа, без малейших априорностей, и которому самый намек о каких бы то ни было иерархиях внушает отвращение. Говорить убедительно с таким человеком можно только в том случае, если ты принимаешь его позицию всерьез, если ты признаешь ее определенную правомочность: те, кто с позиции «вечных ценностей» просто призывают громы небесные на нигилистов, не говорят ничего. Это не слово, а «слова, слова, слова». Да и само их обладание этими «вечными ценностями» вполне законно ставится под вопрос.

Новизна слова Аверинцева — и его мысли, и его чувства, поскольку это одно (то, что в нас воистину *понимает*, — не рассудок, а «сердце человеческое», как много раз он повторял), — эта новизна не ощущается теми, кто привычно ищет нового на знакомых путях: именно там, где постмодернизм объявил исчерпанность всякой новизны (и в этом несомненно прав). *Другую новизну* Аверинцев обнаруживает там, где менее сочувственный взгляд видит лишь рутинный консерватизм. Так, в одной из своих поздних работ — об Анне Ахматовой, самом «неоригинальном» с внешней стороны, самом «не странном» поэте Серебряного века, — Аверинцев отмечает эту радикальную новизну, отличающую ее «бедную» поэтику от всех «богатых», современных ей: новизну «хоровой личности», иначе говоря, — «церковной личности», в любом своем самом приватном переживании соединенном с неким «мы» («Все мы грешники здесь, блудницы»). Это новизна не отдельных форм, не отдельных «идей» (здесь уж явно, после всех формальных революций и «смен парадигм» нового искать нечего!) — это забытая новизна неодинокого в самой своей глубине самочувствия среди давным-давно запертого в «абсолютно индивидуальный опыт» культурного человечества Европы.

Так мы переходим к размышлению о втором тезисе Витторио Страда: его тезисе об обновлении русской культуры в Сергее Аверинцеве. Да, Аверинцев пришел в одичавшее советское общество с огромным наследием Серебряного века, знакомого ему по домашнему, обдуманного, выверенного. Но он не просто извлек эти сокровища из забвения и поделился ими с обнищавшим современником. Он *ответил* Серебряному веку, последней эпохе свободного русского слова.

Как всем известно, Серебряный век был жестоко оборван, его просто «закрыли»,

выслали на «философском пароходе», вычеркнули из учебников истории и литературы. Его духовные задачи только теперь, и очень робко, начинает вспоминать церковная история. Это богатейшее и взволнованное время, время предчувствий и догадок, часто смутных и просто мутных, как будто осталось без продолжения и ответа.

Конечно, это не совсем так. Серебряному веку отвечали на родине немногие из его выживших участников (Ахматова, Мандельштам, Пастернак) своим творчеством советских лет. Об этом продолжении в связи со смертью Ахматовой сказал о. Александр Шмеман: «В Ахматовой «серебряный век» нашел свою последнюю правду: правду совести». Его продолжал и восполнял опыт гонимого Православия. Его обдумывали, передумывали и возражали ему мыслители Русского Зарубежья, дополняя его другой последней правдой — правдой трезвости и новой скромности (Вл. Ходасевич, поздний Вяч.Иванов).

Но все же самым полным, стереоскопическим ответом Серебряному веку — и, соответственно, всей традиции свободной российской культуры, которая на нем и оборвалась, — мне представляется слово Аверинцева. Совесть, и трезвость, и терпение, и окончательное освобождение от российского изоляционизма⁴, и внимание к другому — вот «последние правды», которыми Аверинцев, наследник гонимой культуры и гонимой веры, восполнил вдохновение начала века. Он восполнил его политическую (в античном смысле политического) мысль любовью к мере и закону, той, всегда недостающей отечественному сознанию ясностью, которая связана с традицией Аристотеля. «Мера» и «умеренность» только в вульгарном представлении противопоставлена прямоте и силе. Чем Аверинцев всегда восхищался, это бесстрашием, готовностью на риск, прямотой.

Нам еще долго нужно обдумывать слово Аверинцева, и это совсем не просто — уже потому, что оно никогда не выражается в форме мировоззренческой беллетристики, привычной форме русской религиозной мысли: оно заключено в конкретных филологических трудах, в том, как Аверинцев читает Вергилия и Нарекаци, Вяч.Иванова, Мандельштама и Царя Давида, Плутарха и Сирина, Жуковского и Лафонтена («Крылов и Лафонтен» — один из последних блестящих докладов Аверинцева, который мне довелось слушать в Париже в 2002 году). В том, наконец, как он читает Новый Завет. В том, как он читает «знаки времени».

О последнем. В уже баснословные года позднегорбачевской «реабилитации веры», когда в Библиотеке иностранной литературы открывался Религиозный зал (в этот же день объявили о кончине Патриарха Пимена), среди многих выступающих говорил Аверинцев. Он говорил о том, что время гонения, время всеобщей апостасии (отступничества) дало нам почувствовать то, что человеку было гораздо труднее оценить в благополучные времена традиционных христианских государств: мы слышали Евангелие в самом деле как «радостную весть», «добрую новость»; мы вполне пережили слова Господа о том, что Он принес жизнь, и жизнь с избытком, — ибо все другое, все вокруг нас со всей очевидностью было смертью... Мы вполне пережили то, что эта весть несет свободу («и узнаете истину, и истина освободит вас»), что Господь «выпускает на волю узников и тем, кто во тьме, открывает свет». Мы это пережили просто потому, что и в самом деле были в узах и темноте. Но поразительнее всего было для меня то, чем Аверинцев кончил свое слово: «Но стоит быть готовыми, что и это пройдет, и нынешняя эсхатологичность, нынешняя близость “последних вещей” померкнет, потому что история не кончается: она кончалась уже много раз. Однако этот опыт когда-нибудь вновь оживет». Мы видим теперь, что слова эти сбылись, что не Жизнью и не Свободой, а чем-то совсем иным привлекает храм множество приходящих в него... «Верой предков», «моральными устоями», «национальным единством»...

Добавлю от себя еще об одной вещи, сверкнувшей тогда и померкшей к нашим дням, — о вещи, прямо относящейся к самому Аверинцеву. Не только «радостную весть» о Жизни нам было дано почувствовать необычайно живо в те времена «серого террора». Мы въяве пережили и то, что выражает древний девиз Оксфордского университета: «Свет Христов просвещает всех», забытое в Новое Время основание христианской цивилизации, убежденность в том, что образование угодно Богу, что умственные дары даются свыше и что творчество — род служения Ему. Просвещение, которое нес с собой Аверинцев⁵, было одновременно просвещением культурным — и просвещением духовным, оно было «Светом Христовым», который освещает всю земную жизнь человека, и высшее в этой жизни, умственное и художественное творчество. Возрождение русской культуры было одновременно культурным и церковным возрождением — вещь немыслимая в современной Европе! Оказавшаяся возможной у нас потому, что и то, и другое подлежало официальному искоренению⁶. Одно вдохновение веяло в этом, и стихотворная строка сообщала чувство причастности к таинству бытия. Да, и это прошло. Церковность, кажется, меньше всего заинтересована теперь в искусстве и в свободной мысли — а те, в свою очередь, откатываются в сторону все более радикального секуляризма. «Культура» же, в руках Аверинцева возродившая свое первое значение — «возделывания»: возделывания человека, как земли, которая сможет благодарно принимать семена Слова, — эта «культура» ушла в нелепый учебный предмет, «культурологию».

Но этим эпизодом на открытии Зала религиозной литературы я хочу сказать, собственно, не о прозорливости Аверинцева, а о его общем герметическом методе. О методе *мудрости* — библейской Софии Премудрости Божией, которой он посвятил столько чудесных размышлений и о которой сказано, что она «дух человеколюбивый». О парадоксальном качестве этой мудрости: одновременно глубокой, сердечной вовлеченности в происходящее — и трезвой отрешенности от него. Эта мудрость отвечает собеседникам Аверинцева — древним авторам и непосредственным предшественникам — опытом двадцатого столетия, его страданием и терпением и новым знанием о том, как выбирается верность. В этом, говоря совсем обобщенно, я и вижу ответ Аверинцева времени и традиции, его новое слово, продолжающее историю «здравой русской мысли»⁷.

«Пока мы ставим мосты над реками невежества, они меняют русла», — горько заметил Аверинцев. При новом повороте «рек невежества» (представление о нем дает цитируемый мной некролог), от дикой немоты и косноязычия к такому же дикому бесстыдному трепу, мосты Аверинцева как будто остаются заброшенными. Его слово обладало силой пробуждать от глухого невежества — не только умственного, но сердечного невежества — советского «нового человека». Постсоветского «нового человека» в его окамененном и непринужденном цинизме это слово, как видно, не трогает. Однако, как мы слышали от него, история уже кончалась множество раз. И это пройдет. «Но мы не имеем права на отчаяние, ведь правда? — говорил Аверинцев, — раз уж мы взяли слово. Разве не Вы написали —

“Мы выпьем за верность до гроба:

за гробом неверности нет”!..»

СНОСКИ:

¹ В удивительном и при этом типичном для актуального журнализма развязном и неряшливом слогe некролог, подписанный «Отделом культуры» «Независимой газеты»,

утверждает: «А если просто сказать, что умер Аверинцев, у большинства это сообщение не вызовет душевного трепета, так как Аверинцев не был мыслителем для всех и человеком для всех (!)...» (Независимая газета, 25 февраля 2004)

² Вообще говоря, *зрелое* слово как значащая компонента культуры исчезло не только у нас: во всей европейской культуре 20 века господствует голос обиженного и рассерженного подростка.

³ Эту драматичнейшую историю уже цитированный некролог «Отдела культуры» НГ резюмирует следующим образом: «Любопытно, что слава застигла его задолго до перестройки». Восклицательным знаком здесь можно отметить каждое слово: и «любопытно», и «слава», и «застигла»...

⁴ О «вселенской отзывчивости» Аверинцева говорить не приходится. Но, кроме обыкновенно имеющегося в виду под «вселенским» европейского, собственно говоря, наследства, открывающегося эллинством, в случае Аверинцева необходимо добавить еще одну огромную традицию. Как помнят знавшие его, Сергей Сергеевич называл себя «средиземноморским почвенником». «Средиземноморское» включает в себя и Афины, и Иерусалим. Когда на панихиде пели об упокоении усопшего «в лоне Авраамовом», я вдруг почувствовала, что в отношении к Аверинцеву это выражение приобретает совершенно особый смысл. Да, он любил это «лоно» не так, как это делает всякий христианин: его погружение в ветхозаветную традицию, да и в стихию средневекового иудаизма было беспримерным для человека русской культуры. Я не говорю уже о том, что конфессиональный изоляционизм, от которого не избавились самые свободные наши духовные люди, для Аверинцева был чужд и враждебен. Он знал и давал почувствовать силу и красоту традиции западного христианства, католического и протестантского. За пределы иудео-христианской почвы его культурное гражданство не выходило: дальневосточные и мусульманские темы никогда его не привлекали, разве что в гётевском пастыше «Западно-Восточного Дивана».

⁵ Просветительство было его несомненным призванием. Как-то, столкнувшись на улице Горького, мы остановились, и Сергей Сергеевич стал рассказывать о своих новейших разысканиях в арамейском субстрате Нового Завета. Оглядев торопящихся в разные стороны людей, он воскликнул: «Мне всем, всем им хочется это рассказать!»

⁶ Цитируемый «Отдел культуры» НГ этого не знает. Он полагает, что «в советские годы эти понятия (глубокой религиозности и высокой научности) были безусловно разведены, поставлены в оппозицию друг к другу». Поверьте старикам: и за то, и за другое «понятие» — да еще и за третье, вдохновенного искусства, — полагалась одна мера.

⁷ Я пыталась более конкретно описать позицию Аверинцева в статье «Рассуждение о методе», см. НЛО, 27, 1997.